# Человек, у которого была совесть

# Уильям Сомерсет Моэм

Перевод: О. Холмская

Сен-Лоран де Марони — прехорошенький городок. Весь он такой чистенький и опрятный. Здания ратуши и судебной палаты там такие, что и во Франции любой город бы позавидовал. Улицы широкие, обсаженные деревьями, которые бросают на панели отрадную тень. Дома все словно только что покрашены и почти все ютятся в небольших садиках, где растут пальмы и кусты лесного пламени, где канны щеголяют яркими красками, а кротоны — бесконечным разнообразием своей листвы; где буйствует пурпурная и алая бугенвиллея, а изящные кусты гибиска с такой небрежной щедростью протягивают вам свои великолепные цветы, что это уж кажется нарочитым кокетством. Сен-Лоран де Марони — административный центр ссыльно-каторжных поселений во французской Гвиане, и в ста шагах от набережной, на которую вы сходите с парохода, высятся ворота каторжной тюрьмы. В этих нарядных домиках среди тропических садов живут тюремные служащие и, если улицы здесь так чисты и опрятны, то это потому, что нет недостатка в подневольных руках, чтобы содержать их в чистоте. Однажды, прогуливаясь со случайным знакомым по улице, я увидел молодого человека в круглой соломенной шляпе и полосатой — белой с розовым — одежде заключенного: он стоял на обочине с мотыгой в руках и ничего не делал.

— Почему ты не работаешь? — спросил мой спутник.

Молодой человек презрительно пожал плечами.

— Видите вон ту былинку? — сказал он. — У меня впереди двадцать лет, чтобы ее выковырнуть. Успею.

Сен-Лоран де Марони имеет единственное назначение — обслуживать тюремные лагеря, центром которых он является. Вся торговля, какая там есть, на этом основана; городские лавки — их содержат китайцы — существуют для того, чтобы удовлетворять нужды надзирателей, врачей и бесчисленных мелких чиновников, так или иначе связанных с лагерями. Улицы тихи и пустынны. Изредка попадется навстречу человек в одежде заключенного, с портфелем под мышкой — это значит, что он работает в тюремной конторе; или другой, с корзинкой в руках — это повар в доме какого-нибудь чиновника. Иной раз видишь группу в несколько человек, которые шагают куда-то под надзором тюремщика; а еще чаще они бредут по направлению к тюрьме или от нее вовсе без всякого надзора тюремные ворота открыты весь день, и заключенные могут входить и выходить, когда им вздумается. Если же встретится вам человек в обычной одежде, то и это, по всем вероятиям, отбывший свой срок заключенный, которому положено еще сколько-то лет прожить в колонии и который за невозможностью найти работу влачит полуголодное существование и спивается насмерть. Здесь все пьют крепкий дешевый ром, который называют тафиа.

В Сен-Лоран де Марони есть гостиница; в ней я и столовался. Вскоре я уже знал в лицо всех обычных ее посетителей. Они приходили, садились каждый за свой излюбленный столик, молча ели и уходили. Гостиницу содержала цветная женщина, а единственным официантом был ее сожитель, бывший заключенный. Ночевал я, однако, не там: губернатор колонии, сам проживавший в Кайенне, любезно предоставил мне свое бунгало. За домом присматривал старик араб. Он был ревностный мусульманин, и несколько раз в течение дня, в определенные часы, я слышал, как он читает молитвы. Для услуг комендант тюрьмы прикомандировал ко мне другого заключенного; он стлал мне постель, убирал комнаты, бегал по поручениям. И он и араб были приговорены к пожизненной каторге за убийство; комендант уверял меня, что они достойны всяческого доверия; оба честнейшие люди: хоть все бросай незапертым — ничего и никогда не пропадет. Но не скрою от читателя, что вечером, ложась спать, я всегда запирал дверь на ключ и ставни на задвижки. Это была, вероятно, совсем излишняя предосторожность, но так мне спалось спокойнее.

Отправляясь сюда, я запасся рекомендательными письмами, и губернатор тюремных поселений, так же как и комендант тюрьмы в Сен-Лоране, приложил все усилия к тому, чтобы мое пребывание здесь оказалось приятным для меня и поучительным. Не буду рассказывать обо всем, что я здесь видел и слышал. Я не репортер. Не мое дело осуждать или оправдывать ту пенитенциарную систему, которую французы считали нужным применять к своим преступникам. Тем более что сейчас эта система уже отвергнута: присужденных к каторге не будут больше отправлять во Французскую Гвиану, где их терзают всяческие болезни, связанные с тропическим климатом и работой в зараженных малярией джунглях, куда многих из них посылают; где они терпят неописуемые унижения, теряют надежду, гниют заживо, умирают. Скажу только: я не видал случаев жестокого обращения с заключенными. С другой стороны, я не видел и заботы о том, чтобы отбывший свой срок преступник мог стать полезным членом общества. Для его морального воспитания ничего не делается. Не заведено ни школ, в которых он мог бы чему-нибудь научиться, ни спортивных игр, участие в которых отвлекало бы его от тяжелых мыслей. Я не видал библиотеки, где он мог бы взять книгу и почитать после работы. Я видел такое положение вещей, при котором только самый сильный и стойкий человек может не пасть духом. Я видел такую грубость, такое общее отупение, которое всякого, кроме, может быть, очень немногих, неизбежно должно привести к апатии и отчаянию.

Обо всем этом я говорить не буду — это не входит в мои задачи. Терзаться из-за чужих страданий, когда не имеешь возможности их облегчить, бесплодное занятие. Моя цель здесь иная: просто рассказать одну любопытную,историю. Я давно уже понял, что невозможно все знать о человеческой природе; сколько ее ни изучай, рано или поздно непременно натолкнешься на какую-нибудь неожиданность. И когда я несколько оправился после того потрясения, изумления и ужаса, какие я испытал при первом своем посещении тюрьмы, я стал соображать, что здесь, пожалуй, можно разузнать кое-что новое о таких сторонах жизни, которые меня всегда интересовали. Надо вам сказать, что три четверти заключенных в тюрьме Сен-Лорана попали сюда за убийство. Эти сведения получены мною не из официальных источников, и, возможно, я преувеличиваю. На каждого заключенного здесь заведена тетрадь, в которой записано его преступление, приговор, взыскания, которым он подвергался, и вообще все, что тюремное начальство считает нужным отметить; из просмотра значительного числа таких тетрадей я и сделал свои выводы. И я был прямо-таки поражен, когда понял, что подавляющее большинство этих людей, которых я видел вокруг себя — видел, как они работают в мастерских, отдыхают на верандах, бродят по улицам, — в Англии, без сомнения, были бы казнены.

Они охотно отвечали на расспросы о том поступке, который привел их сюда, и я потратил целый день, пытаясь разведать природу так называемых преступлений на любовной почве. В каждом случае я старался точно установить, что именно побудило этого человека убить свою жену или любовницу. Мне сдавалось, что не все тут можно объяснить ревностью или чувством оскорбленной чести. Я получил много любопытных ответов и среди них один, по-моему не лишенный юмора. В плотничной мастерской работал человек, который перерезал горло своей жене. Я спросил, почему он это сделал, и он, пожав плечами, ответил: «Manque d'entente» [Не сошлись характерами (франц.)].

Принимая во внимание небрежный тон, каким это было сказано, ответ его можно перевести так: «Мы с ней не ладили». Я не удержался от замечания, что, если бы все мужчины считали это достаточной причиной для убийства своих жен, смертность среди женского пола приняла бы угрожающие размеры. Но, подробно расспросив большое число людей, я пришел к выводу, что в основе почти всех этих преступлений таились причины экономического порядка; чаще всего муж или любовник убивал не просто из ревности, не только потому, что женщина ему изменяла, но еще и потому, что эта измена так или иначе била его по карману. Иногда неверность жены сочеталась с денежным уроном для мужа, и именно это толкало его на отчаянный поступок; а иногда муж сам не прочь был завладеть деньгами жены ради удовлетворения других своих страстишек и убивал свою жертву потому, что она была препятствием на этом пути. Я не берусь утверждать, что мужчина никогда не убивает женщину из-за того только, что его любовь была отвергнута или честь поругана. Эти отдельные случаи, которые мне пришлось наблюдать, я привожу здесь лишь потому, что они бросают свет еще на одну любопытную сторону человеческой природы. Но я и не думаю выводить отсюда какие-либо общие законы.

Еще один день я потратил, разбираясь в вопросе об угрызениях совести. Моралисты стараются убедить нас, что совесть — это могучий фактор, определяющий человеческое поведение. В наше время, когда рассудок и сострадание отвергли миф об адском пламени как злую выдумку, многие хорошие люди видят в совести единственную гарантию того, что человечество будет все-таки следовать по стезе праведности. Шекспир сказал, что совесть всех нас обращает в трусов. Романисты и драматурги неоднократно описывали нравственные страдания злодеев; они живо изображали муки нечистой совести и причиняемые ею бессонные ночи; показывали, что она отравляет человеку всякое удовольствие и делает жизнь его невыносимой, так что поимку и кару он под конец приветствует как желанное избавление.

Я часто задавал себе вопрос: сколько во всем этом правды? У моралистов, конечно, свое на уме: им из всего нужно вывести мораль. Они думают, что, если постоянно повторять одно и то же, люди в конце концов этому поверят. И, кроме того, они слишком часто склонны желаемое принимать за действительное. Они утверждают, например, что за преступлением неизбежно следует кара; мы, однако, знаем, что это далеко не всегда так. Что же касается творцов художественной литературы, то романисты и драматурги, напав на хороший сюжет, стараются развить его как можно эффектнее, не особенно считаясь с тем, насколько их измышления согласуются с реальной жизнью. Так вот и получилось, что некоторые взгляды на человеческую природу стали как бы общим достоянием и считаются самоочевидными. Примерно то же было с художниками: в течение столетий они писали тени черными, и, только когда импрессионисты вгляделись в окружающий мир непредубежденным взглядом и точно изобразили то, что видели, всем стало ясно, что тени вовсе не черные, а цветные. Мне часто приходило в голову, что совесть, возможно, есть выражение высокого нравственного развития и действует лишь в тех сияющих добродетелью людях, которые вообще едва ли способны на предосудительные поступки. Мы все согласны, что самое страшное преступление — это убийство, предполагается поэтому, что из всех преступников именно убийца должен больше всего страдать от угрызений совести. Нас уверяют, что образ жертвы преследует его в ночных кошмарах, что память о совершенном злодеянии неотступно терзает его в ча.сы бодрствования. Теперь у меня был случай все эта проверить, и я не преминул им воспользоваться. Если бы я заметил, что кому-нибудь неприятны или даже мучительны мои расспросы, я бы тотчас их прекратил. Но никто из тех, с кем я разговаривал, не проявлял подобных чувств. Одни говорили, что, случись опять такое же стечение обстоятельств, они сделали бы то же самое. Бессознательные детерминисты, они считали, что их поступок был предопределен судьбой, над коей они не властны. Другие так говорили о своем преступлении, словно его совершил кто-то, не имеющий к ним никакого отношения.

— Молодой был, ну и глупый, — замечали они с небрежным жестом или снисходительной улыбкой.

Иные говорили, что, знай они заранее, как тяжело придется им поплатиться за свое преступление, они бы от него воздержались. Но какой-либо жалости к тому человеческому существу, которое они насильственно лишили жизни, я ни в ком не заметил. Казалось, убитый будил в них не больше сочувствия, чем те свиньи, которых им случалось колоть для продажи на рынке. Они не только его не жалели, он даже вызывал у них злобу, как причина того, что теперь им приходится маяться в этой гиблой стране. Лишь у одного обнаружились чувства, которые можно назвать угрызениями совести, и его история столь примечательна, что ее стоит рассказать. Самое любопытное в ней то, что, насколько я понимаю, именно угрызения совести довели этого человека до преступления. Я тогда знал его тюремный номер — он был напечатан черной краской на груди его бело-розовой полосатой куртки, — но потом забыл. Имя его так и осталось мне неизвестным. Сам он мне не сказал, а я постеснялся спрашивать. Но это неважно. Буду называть его Жан Шарвен.

Я увидел его впервые, когда осматривал тюрьму в сопровождении коменданта. Мы пересекали внутренний дворик, на который выходят одиночки не карцеры, а отдельные маленькие комнатки, предоставляемые заключенным в награду за хорошее поведение; на них всегда есть большой спрос среди тех, кто тяжело переносит тесное общение с разношерстной публикой, неизбежное в больших камерах. В этот час одиночки почти все стояли пустые — их обитатели находились где-нибудь на работе. Жан Шарвен работал у себя — он писал, сидя за столиком; дверь была открыта. Комендант окликнул его, и он вышел, Я заглянул в камеру. В ней была подвесная койка с грязным кисейным пологом от москитов; возле койки — крохотный столик, на нем — нехитрое личное имущество заключенного: кисточка для бритья, бритва, щетка для волос, две-три истрепанные книжки. На стенах картинки, вырезанные из иллюстрированных журналов, и фотографии каких-то господ почтенной внешности. Сидеть тут можно было только на койке; столик, за которым Жан Шарвен писал, был завален бумагами — судя по виду, счетами. Жан Шарвен был очень недурен собой: высокий и стройный, с блестящими темными глазами и резкими, правильными чертами лица. Мне сразу бросились в глаза его густые, кудрявые и довольно длинные темно-каштановые волосы. Этим он отличался от прочих заключенных те все острижены под машинку, причем так плохо, ступеньками, что это придает им мрачный и угрюмый вид. Комендант что-то сказал ему, касающееся его работы, а когда мы уже уходили, дружески добавил:

— Я вижу, волосы у вас уже отросли.

Жан Шарвен покраснел и улыбнулся. Улыбка у него была детски простодушная, очень приятная.

— Ну, еще не совсем. Не так-то скоро! Комендант отпустил его, и мы пошли дальше.

— Весьма порядочный молодой человек, — сказал комендант. — Он у нас работает в бухгалтерии, и мы позволили ему отрастить волосы. Он в восторге.

— За что его сюда сослали? — спросил я.

— За убийство жены. Но ему дали только шесть лет. Очень неглупый парень и отличный счетовод. Этот не пропадет. Он из хорошей семьи и получил прекрасное образование.

Я бы не вспомнил больше о Жане Шарвене, но на другой день я увидел его на улице. Он шел мне навстречу с портфелем под мышкой. Если бы не бело-розовые полосы на его одежде и не уродливая круглая соломенная шляпа, прикрывавшая его красивую шевелюру, его можно было бы принять за молодого адвоката, направляющегося в суд. Он шел не спеша, размашистым шагом, и держался свободно, даже как-то щеголевато. Он тотчас узнал меня и, сняв шляпу, поздоровался. Я остановился и, чтобы завязать разговор, спросил, куда он идет. Он ответил, что в банк: несет туда кое-какие бумаги из губернаторской канцелярии. У него было приятное, открытое выражение лица, глаза — надо сказать, на редкость красивые! — сияли доброжелательством. Видно было, что сила молодости бьет в нем ключом, так что даже здесь — в этой обстановке и в его положении — жизнь ему не горька, а может быть, и радостна. Посмотрев на него, всякий бы сказал: вот молодой человек, у которого нет ни забот, ни огорчений.

— Я слышал, вы завтра отправляетесь в Сен-Жан? — спросил он.

— Да. Выезжать, кажется, надо на рассвете.

Сен-Жан — это исправительный лагерь в семнадцати километрах от Сен-Лорана; там содержатся рецидивисты, высланные в колонию после многократных отсидок в тюрьме. Это по преимуществу мелкие воришки, мошенники, фальшивомонетчики, вымогатели и тому подобное; заключенные Сен-Лорана, попавшие сюда за более серьезные преступления, смотрят на них свысока.

— Это будет для вас интересная поездка, — сказал Жан Шарвен со своей обаятельной улыбкой. — Но берегите карманы! Там такая публика: только зазевайся — рубашку с плеч стащат. Отъявленные мерзавцы!

В тот же день я сидел на веранде у дверей в свою спальню и читал, поджидая, пока спадет жара, я опустил жалюзи, и на веранде было довольно прохладно. Мой старик араб поднялся по лестнице, неслышно ступая босыми ногами, и доложил, что пришел какой-то человек от коменданта и хочет меня видеть.

— Пусть зайдет сюда, — сказал я.

Через минуту появился посланец: это был Жан Шарвен. Его прислал комендант что-то мне передать насчет завтрашней поездки в Сен-Жан. Когда он выполнил свое поручение, я пригласил его сесть и выкурить со мной сигарету. Он посмотрел на дешевенькие часы у себя на руке.

— С удовольствием, — сказал он. — У меня есть еще несколько минут свободных.

Он сел и закурил сигарету. Потом посмотрел на меня; в его ласковых темных глазах мерцала усмешка.

— Знаете, — сказал он, — ведь это в первый раз после приговора мне предложили сесть. — Он глубоко затянулся сигаретой. — Египетские. Три года я не курил египетских сигарет.

Заключенные курят самокрутки из простого крепкого табака, который продается здесь в квадратных синих пачках. Так как платить им деньгами за услуги не разрешается, но дарить табак можно, я накупил множество этих синих пакетиков.

— Ну и как? Нравятся вам египетские?

— Да знаете ли, человек ко всему привыкает, и у меня теперь вкус уже так испорчен, что я предпочитаю здешние.

— Так я вам дам несколько пачек.

Я пошел в комнату за табаком. Вернувшись, я увидел, что Жан Шарвен разглядывает книги, лежащие на столе.

— Вы любите читать? — спросил я.

— Очень. Здесь, пожалуй, больше всего страдаешь от недостатка книг. Попадется какая-нибудь, так уж по десять раз читаешь и перечитываешь.

Такому страстному любителю чтения, как я, отсутствие книг должно было, конечно, показаться самым жестоким лишением.

— У меня в чемоданах где-то есть несколько французских. Я их разыщу, а вы заходите опять, и, если они вас заинтересуют, я охотно вам подарю.

Мое предложение исходило не только от доброты сердца: мне хотелось иметь случай еще раз с ним побеседовать.

— Я должен буду показать их коменданту. Нам разрешается держать у себя только те книги, в которых нет ничего вредного для нашей нравственности. Но комендант — добрый человек и, я думаю, не станет чинить препятствий.

Он сказал это с какой-то хитроватой усмешкой, и я подумал, что он, по-видимому, давно раскусил своего ревностного к службе, но недалекого начальника и сумел снискать его благосклонность. Что ж, нельзя его осуждать, если он применяет такт или даже хитрость, чтобы облегчить свою участь.

— Комендант о вас очень высокого мнения.

— Он хороший человек. Я ему очень благодарен, он много для меня сделал. По профессии я бухгалтер, и он дал мне работу в счетном отделе. Я люблю цифры, они для меня как живые, и теперь, когда я целый день с ними вожусь, я опять чувствую себя человеком.

— И вы, наверно, довольны, что вас перевели в одиночку?

— Еще бы! Это же и сравнивать нельзя. Вы не знаете, какой это ужас, когда вокруг тебя все время люди (и какие люди — настоящие подонки!) и ты никогда ни минуты не можешь побыть один. Хуже этого ничего быть не может. Дома, в Гавре — я родом из Гавра, — у нас была отдельная квартирка, очень, конечно, скромная, но своя, и женщина приходила по утрам убирать. Мы жили как люди. Поэтому для меня все это было в сто раз тяжелее, чем для других, которые лучшего и не знали и с детства привыкли жить кучей, в нищете, в грязи.

Я задал вопрос об одиночке в надежде что-нибудь выпытать у Жана Шарвена о жизни заключенных в этих огромных камерах, где их запирают с пяти часов вечера до пяти утра. В течение двенадцати часов они сами себе хозяева. Говорят, надзиратели не решаются к ним входить из страха поплатиться жизнью. Свет гасят в восемь часов, но заключенные мастерят самодельные лампы — для этого им нужна лишь консервная банка, немножко масла, скрученный из тряпок фитиль — и при этом скудном освещении играют в карты. Игра идет отчаянная, не ради развлечения, а на деньги, которые они как-то ухитряются прятать у себя на теле. Народ там грубый и безжалостный, — не удивительно, что сплошь да рядом возникают жестокие ссоры, которые кончаются поножовщиной. Утром, когда открывают камеру, там нередко находят мертвое тело, но никогда еще не удавалось ни угрозами, ни посулами заставить заключенных выдать виновника. Многое из того, что я услышал от Жана Шарвена, я даже не решаюсь здесь повторить. Между прочим, он рассказал мне трагическую историю одного молодого человека, с которым он подружился во время переезда из Франции — их везли на одном пароходе. Это был красивый юноша. Однажды он пришел к коменданту и попросил перевести его в одиночку. Комендант спросил, почему он этого добивается, и тот объяснил. Просмотрев списки, комендант сказал, что сейчас свободных одиночек нет, но как только освободится, его переведут. На следующее утро, когда открыли камеру, юноша лежал на койке мертвый с распоротым снизу доверху животом.

— Это дикие звери, а не люди, и если кто-нибудь из них еще похож на человека, когда приезжает, так потом все равно станет таким же зверем, как и остальные. Только чудо может его от этого уберечь.

Жан Шарвен поглядел на часы и встал. Он отошел на несколько шагов, повернулся и снова подарил меня своей сияющей улыбкой.

— Мне пора, — сказал он. — Если комендант разрешит, я опять зайду и возьму книги, которые вы так любезно мне предложили.

В Гвиане не принято пожимать руку заключенному, и если тот — человек тактичный, он всегда прощается с вами издали, чтобы вам не пришлось либо нарушать правила, либо обижать его отказом, если сам он, забывшись, машинально протянет вам руку. Видит бог, я охотно пожал бы руку Жану Шарвену, и меня больно укололо его старание избавить меня от неловкости.

Я еще дважды виделся с ним за время моего пребывания в Сен-Лоране. Он рассказал мне свою историю, но здесь я передам ее своими словами, потому что она складывалась постепенно из отрывочных его рассказов то об одном эпизоде, то о другом, а все, чего он не договорил, мне пришлось дополнить собственным воображением. Но не думаю, чтобы в своих домыслах я очень уклонялся от истины. Это примерно так, как если бы он из каждого слова в пять букв называл мне только три; вероятно, я более или менее правильно угадал бы все слова.

Жан Шарвен родился и вырос в Гавре, большом портовом городе. Отец его служил в таможне, занимал там довольно видную должность. Окончив школу и отбыв воинскую повинность, Жан стал искать работу. Как многие молодые французы, неверной погоне за богатством он предпочитал скромный достаток. У него была врожденная способность к счетному делу, это помогло ему получить место бухгалтера в крупной торговой фирме, работавшей на экспорт. Будущее его было обеспечено. Он мог с уверенностью рассчитывать на приличный заработок, который позволит ему жить скромно, но безбедно, как он привык и как жили все люди его круга. Подобно большинству французов своего поколения, он увлекался спортом. Летом играл в теннис и плавал, зимой ездил на велосипеде. Два раза в неделю посещал гимнастический зал, чтобы всегда быть в форме. В детстве он подружился с мальчиком, которого мы для удобства повествования назовем хотя бы Анри Ренар; отец его тоже был чиновником в таможне. Эта дружба продолжалась и в отроческие годы и в годы юности. Жан и Рири вместе ходили в школу, вместе играли — семьи их тоже были близко знакомы, — вместе ухаживали за девушками, вместе выступали на теннисных турнирах, вместе отбывали воинскую повинность. Они никогда не ссорились. Им только вместе и бывало по-настоящему весело. Они были неразлучны. Когда пришло время поступать на работу, они решили и тут не разлучаться. Но оказалось, что это не так-то просто. Жан пытался устроить Рири в той фирме, где сам служил; это не вышло, и только через год Рири вообще удалось получить работу. Но к этому времени в Гавре, как и повсюду, в делах наступило затишье, и через несколько месяцев Рири опять остался без работы.

Рири был легкомысленный юноша и не огорчался своим вынужденным досугом. Он весело проводил время: танцевал, плавал, играл в теннис. Тут-то он и познакомился с молодой девушкой, которая только недавно поселилась в Гавре. Отец ее был капитаном колониальных войск; после его смерти мать Мари-Луизы вернулась на родину. Мари-Луиза почти всю жизнь прожила в Тонкине; это придавало ей какое-то экзотическое очарование в глазах обоих юношей, никогда не бывавших за пределами Франции; и оба они — сперва Рири, а потом и Жан — в нее влюбились. Вероятно, это было неизбежно, но оказалось гибельным для обоих. Мари-Луиза получила прекрасное воспитание, она была единственным ребенком, а у ее матери, кроме пенсии, был свой небольшой капиталец. Ухаживать за такой девушкой можно было, только имея в виду брак. Рири, пока что живший на средства отца, для нее, конечно, был не жених — мадам Мерис, мать Мари-Луизы, никогда бы не дала согласия. Но, не связанный службой, он мог чаще видеться с девушкой, чем Жан. Мадам Мерис была слаба здоровьем, поэтому Мари-Луиза пользовалась большей свободой, чем другие французские девушки ее возраста и ее круга. Она, конечно, видела, что Рири и Жан в нее влюблены, и оба они ей нравились, ей льстило их внимание, но сама она не проявляла никаких признаков влюбленности, и нельзя было понять, кому она отдает предпочтение. И уж, конечно, она хорошо понимала, что Рири сейчас не может на ней жениться.

— Какая она была собой? — спросил я.

— Маленькая, с изящной фигуркой, с большими серыми глазами, матовой кожей и мягкими волосами мышиного цвета. Она вообще была похожа на мышку. Нельзя сказать, что красивая, но хорошенькая на свой особый лад и занятная. Этакая скромница. Очень привлекательная. С ней было легко, она всегда держалась просто и естественно. Смотришь, бывало, на нее и думаешь: вот девушка, на которую можно положиться — из нее выйдет хорошая жена.

Жан и Рири не имели тайн друг от друга, и Жан не скрывал, что влюблен в Мари-Луизу, но между ними был как бы молчаливый уговор: так как Рири познакомился с ней первый, Жан не будет становиться ему поперек дороги. Наконец она сделала выбор. Однажды вечером Рири дождался Жана у дверей конторы, где тот работал, и сказал ему, что Мари-Луиза согласилась выйти за него замуж. Они уже обо всем договорились. Как только Рири устроится на работу, его отец пойдет к мадам Мерис и сделает формальное предложение. Это был жестокий удар для Жана. Нелегко ему было слушать, как взволнованный и упоенный счастьем юноша строит планы на будущее, — а ведь надо было еще и выражать ему сочувствие. Но он так любил Рири, что не мог на него злобиться; и, понимая, насколько тот мил и привлекателен, он не мог осуждать Мари-Луизу. Он постарался с чистым сердцем принести эту жертву на алтарь дружбы.

— Почему она выбрала его, а не вас? — спросил я.

— Он был такой жизнерадостный: поглядишь на него, ну прямо жизнь из него брызжет. Такой веселый, такой остроумный. Он всех заражал своим весельем. С ним никогда не бывало скучно.

— С изюминкой, значит, юноша, — усмехнулся я.

— Ас каким обаянием!

— Красивый был?

— Да нет, не очень. Ростом пониже меня, худенький, сухощавый. Но лицо у него было славное, доброе. — Жан Шарвен усмехнулся не без самодовольства. Скажу, не хвастая, что я был красивее Рири.

Но Рири все не удавалось устроиться на работу. Отцу надоело содержать взрослого сына, который только бьет баклуши, и он принялся писать во все концы Франции родственникам и знакомым с просьбой подыскать ему какое-нибудь место, пусть самое скромное, и наконец получил ответ из Лиона от одного из своих двоюродных братьев, служившего на шелкокрутильной фабрике. Тот писал, что их фирма ищет молодого человека, который поехал бы в Пном-Пень в Камбодже, где у —них есть отделение для закупки местного шелка-сырца. Если Рири согласен на такую работу, он его устроит.

Как все родители-французы, отец и мать не хотели, чтобы их сын покидал родину. Но делать было нечего; на семейном совете решили, что хоть жалованье и небольшое, а соглашаться надо. Сам Рири не прочь был поехать. Камбоджа не так далеко от Тон-кина, для Мари-Луизы обстановка там будет привычная. Она часто вспоминала о своей жизни в тамошних краях, и Рири думал, что ей приятно будет вернуться на Восток. Каково же было его огорчение, когда она решительно заявила, что не поедет. Во-первых, она не может оставить больную мать — та, чем дальше, тем все больше прихварывала. Во-вторых, поселившись наконец во Франции, она вовсе не желает опять куда-то уезжать. Ей очень жаль Рири, но свое решение она не изменит — кончено, припечатано. О том, чтобы отказаться от этого предложения при отсутствии всяких других перспектив, не могло быть и речи, отец Рири ни за что бы не позволил. Выходило так, что, хочешь не хочешь, а Рири должен ехать. Жану было грустно его терять, но вместе с тем с первой же минуты, как только Рири принес ему это печальное известие, он понял с тайной радостью, что судьба играет ему в руку. Рири пробудет в Камбодже по меньшей мере пять лет, а если проявит хоть какие-нибудь деловые способности, то, вероятно, и совсем обоснуется на Востоке. Ну, а Мари-Луиза тем временем выйдет замуж за Жана. В этом он не сомневался. Его обеспеченность, хорошее служебное положение, то, что, выйдя за него, Мари-Луиза сможет жить в Гавре и, стало быть, не разлучаться с матерью, — все это в ее глазах будет доводами в пользу такого брака. К тому же он ей нравится и, когда не будет рядом Рири с его обаянием, эта приязнь легко превратится в любовь. После долгих месяцев уныния Жан снова воспрянул духом и втайне от всех уже строил планы на будущее. Ему больше не надо было запрещать себе любить Мари-Луизу.

Вдруг все его надежды рухнули. В одной судовой компании, занимавшейся морским фрахтом, открылась вакансия. Рири тотчас подал прошение и, по-видимому, мог рассчитывать на благоприятный ответ. Знакомый, служивший в той фирме, сказал ему, что это дело верное. Если бы ему на этот раз повезло, все бы устроилось. Фирма была старинная, солидная, все знали, что поступишь туда, так это уж на всю жизнь. Жан Шарвен впал в отчаяние; и хуже всего было то, что никому нельзя было сказать о своих душевных муках. Но однажды его вызвал к .себе директор того торгового дома, в котором он сам служил.

Дойдя до этого места в своем рассказе, Жан остановился. В глазах его появилось выражение боли.

— Я сейчас расскажу вам то, чего еще никому не рассказывал. Я честный человек, у меня есть правила. Я расскажу вам о том, как я единственный раз, в жизни совершил бесчестный поступок.

Тут, пожалуй, не мешает напомнить читателю, что на Жане Шарвене была полосатая одежда арестанта с номером на груди и что отбывал он свой срок за убийство жены.

— Я представить себе не мог, зачем я понадобился директору. Когда я вошел в его кабинет, он, сидя за письменным столом, испытующе оглядел меня.

— Я хочу задать вам один важный вопрос, — сказал он. — И прошу вас, пусть все это останется между нами. Ваш ответ я тоже обещаю сохранить в тайне.

Я молча ждал. Он снова заговорил:

— Вы уже больше двух лет у нас служите. Я вами очень доволен. Можно надеяться, что со временем вы займете ответственный пост в нашей фирме. Я отношусь к вам с полным доверием.

— Благодарю вас, сударь, — сказал я. — Постараюсь оправдать ваше доброе мнение.

— Вопрос этот вот какой. Господин Такой-то собирается принять к себе на службу Анри Ренара. Господин Такой-то очень щепетилен насчет нравственности своих служащих, а в данном случае для него особенно важно не совершить ошибки. В числе обязанностей Анри Ренара будет выдача жалованья командам судов, принадлежащих компании; через его руки будут проходить сотни тысяч франков. Я знаю, что он ваш близкий друг, что ваши семьи тоже были между собой в самых дружеских отношениях. Я прошу вас сказать мне, положа руку на сердце: не ошибется ли господин Такой-то, если примет этого молодого человека к себе на службу?

Я тотчас понял все значение его вопроса. Если Рири получит это место, он останется в Гавре и женится на Мари-Луизе; если не получит, он уедет в Камбоджу, и на Мари-Луизе женюсь я. Клянусь вам, не я ответил ему в ту минуту — какой-то другой человек говорил моим голосом; он, а не я, произнес слова, родившиеся на моих устах.

— Господин директор, — сказал я, — мы с Анри всю жизнь были друзьями. Мы никогда не разлучались, даже на неделю. Мы вместе ходили в школу, у нас все было общее: карманные деньги, когда мы были детьми, и любовницы, когда мы стали взрослыми. Мы вместе были в армии.

— Мне все это известно. Вы знаете его лучше, чем кто-либо другой. Поэтому я и задаю вам этот вопрос.

— Вы ставите меня в щекотливое положение, господин директор. Вы хотите, чтобы я предал своего друга. Я этого не могу и не отвечу на ваш вопрос.

Директор посмотрел на меня с тонкой улыбкой. Он имел несколько преувеличенное мнение о своем уме и проницательности.

— Ваш ответ делает вам честь, но вы уже сказали мне все, что я хотел знать. — Улыбка его стала добродушной и сочувственной. Вероятно, я был очень бледен; кажется, меня даже била дрожь. — Успокойтесь, дорогой мой. Вы волнуетесь, я это понимаю. Бывает в жизни так, что честность требует одного ответа, а верность другу совсем иного. Колебания тут, конечно, недопустимы, но сделать выбор нелегко. Я не забуду, как вы вели себя в этом случае, и от имени господина Такого-то я вас благодарю.

Через полгода после этого разговора Жан и Мари-Луиза стали мужем и женой. Со свадьбой поторопились, так как болезнь мадам Мерис приняла дурной оборот. Понимая, что ей недолго осталось жить, она спешила устроить судьбу дочери. Жан перед свадьбой написал Рири, а тот ответил письмом, в котором тепло поздравлял Жана и уговаривал его не мучиться угрызениями совести: он, Рири, сам понимал, покидая Францию, что никогда не сможет жениться на Мари-Луизе, и очень рад, что она будет женой его друга. А о нем пусть не горюют: он и в Пном-Пене найдет себе утешение. Письмо было очень веселое. Жан с самого начала предполагал, что Рири при его живом темпераменте скоро забудет Мари-Луизу, и, судя по письму, это уже произошло. Рана его быстро зажила. В этом Жан видел свое оправдание. Потому что он-то попросту умер бы, если бы потерял Мари-Луизу: для него это был вопрос жизни и смерти.

Первый год после женитьбы они были совершенно счастливы. Мадам Мерис скончалась, оставив дочери около двухсот тысяч франков, но Жан и Мари-Луиза решили все-таки не обзаводиться пока детьми: время было тревожное — кризис, падение валюты; пусть сперва экономическое положение немного упрочится. Мари-Луиза была отличная хозяйка — аккуратная, бережливая; она была хорошая жена — ласковая, внимательная, заботливая. У нее.был ровный, спокойный характер. До свадьбы это казалось Жану очень привлекательной чертой. Но мало-помалу в ее спокойствии он стал прозревать некоторую скудость чувств. Под этой ровной поверхностью не было глубины. Раньше он часто сравнивал ее с мышкой; и правда, было что-то мышиное в ее уклончивой сдержанности и вечной заботе о мелочах; она до странности серьезно относилась к тому, что, собственно говоря, не имело никакого значения, и могла без конца заниматься всякими пустяковыми делами. У нее был свой маленький мирок со своими маленькими интересами, и в ее красивой, гладко причесанной головке не оставалось места ни для чего другого. Она иногда начинала читать роман, но редко дочитывала до конца. Жан вынужден был признать, что с ней бывает скучновато. И все чаще его посещала мысль: да стоило ли ради нее совершать подлость? Под конец он совсем загрустил. Ему недоставало Рири. Он пытался оправдаться перед самим собой, говорил себе, что теперь уж поздно каяться, сделанного не воротишь, а в ту минуту он действовал под влиянием чувства, не по своей воле. Но совесть его не хотела успокаиваться. Он горько сожалел, зачем тогда не ответил директору иначе.

А тут пришла страшная весть. Рири захворал тифом и умер. Жан был потрясен до глубины души. Мари-Луиза тоже была потрясена; она, как водится, посетила родителей Рири, принесла им свои соболезнования. Но кушала по-прежнему с аппетитом и спала так же крепко, как всегда. Такое самообладание несказанно возмущало Жана.

— Бедный Рири, — говорила она, — он всегда был такой веселый, ему, наверно, очень не хотелось умирать. Но зачем он туда поехал? Я ведь предупреждала его, что там вредный климат. У меня отец там умер, я знала, что говорю.

Жан понимал так, что это он убил Рири. Если бы он рассказал директору все хорошее, что знал о своем друге — а он это знал лучше всех на свете, Рири получил бы место в Гавре и сейчас был бы жив и здоров.

«Никогда себе не прощу, — думал он. — И никогда уже не буду счастлив. Ах, какой я был дурак — и какой негодяй!..»

Он оплакивал Рири. Мари-Луиза старалась его утешить. Она была добренькая и любила Жана.

— Не надо так расстраиваться. Подумай сам: вы увиделись бы не раньше, чем через пять лет, а он за это время, наверное, так изменился бы, что у вас и общего ничего бы не осталось. Он уже был бы для тебя чужой. Это часто бывает, я сколько раз видела. Люди радуются встрече, а через полчаса оказывается, что им и сказать друг другу нечего.

— Должно быть, ты права, — вздохнул Жан.

— Он был чересчур ветреный, ничего толкового из него все равно не вышло бы. У него не было твоей твердости характера и твоего ясного, практического ума.

Жан понимал, о чем она думает. Каково было бы сейчас ее положение, если бы она уехала с Рири в Индокитай? Осталась бы вдовой в двадцать один год, без всяких средств к существованию, кроме собственных двухсот тысяч франков. Да, чуть было не опростоволосилась, но, слава богу, она вовремя проявила здравый смысл. А таким мужем, как Жан, она могла гордиться. Он хорошо зарабатывал. Серьезный, положительный человек.

Но Жана терзали угрызения совести. Если он и раньше страдал, то теперь страдал в миллион раз больше. Мысль о совершенном предательстве заставляла его корчиться, как от физической боли. Иногда, во время работы, он вдруг вспоминал — и сердце переворачивалось у него в груди. Это была такая мука, что он на все был готов, лишь бы от нее избавиться. Он едва не поддался соблазну все рассказать Мари-Луизе и удержал себя только величайшим усилием воли. Он знал, как она примет его исповедь. Не возмутится, не вознегодует даже сочтет это ловким ходом с его стороны, даже будет польщена тем, что ради нее он пошел на подлость. Нет, от нее помощи ждать нечего. Он начинал чувствовать к ней прямую неприязнь. Ведь это из-за нее он запятнал себя позорным поступком, а что она такое? Самая заурядная, ограниченная и расчетливая маленькая мещанка.

«Какой я был дурак!" — повторял он про себя.

Она уж даже не казалась ему хорошенькой. Он видел только, что она ужасно глупа. Но ведь нельзя же винить ее за это. Не ее вина, что он предал своего друга. И он заставлял себя быть с ней нежным и ласковым. Он всячески ей угождал. Стоило ей выразить какое-нибудь желание, и он спешил его исполнить. Он старался вызвать в себе жалость к ней; он говорил: надо быть терпимым. Ведь в меру своего куцего разумения она хорошая жена — домовитая, бережливая; умеет держать себя, умеет одеться, недурна собой — как раз такая жена, какая нужна приличному молодому человеку. Все это было верно. Но Рири умер из-за нее, и Жан ее ненавидел. Когда они оставались вдвоем, он изнывал от скуки. Он этого не показывал, он был добр к ней, внимателен, ласков, но порою чувствовал, что готов ее убить. И все же, когда это наконец случилось, это вышло как-то само собой, словно невзначай. Со смерти Рири прошло уже около года, и его родители, старики Ренар, решили устроить вечеринку по случаю помолвки дочери. Жан почти не видался с ними после смерти Рири и не хотел идти. Но Мари-Луиза сказала, что это неудобно: он был лучшим другом Рири и не может отказаться от участия в их семейном торжестве, это было бы трубой неучтивостью. Она была очень щепетильна насчет всяких светских приличий.

— А кстати, и развлечешься немножко. Ты был в таком подавленном состоянии последнее время, не мешает тебе чуточку повеселиться. У них ведь и шампанское будет, как ты думаешь? Мадам Ренар, правда, не любит тратиться, но уж раз такой случай, придется ей пойти на жертвы.

И Мари-Луиза ехидно усмехнулась, представив себе, с каким сердечным сокрушением мадам Ренар станет развязывать свой кошель.

Вечеринка была очень веселая. Жана словно ударило в сердце, когда он увидел, что в бывшей комнате Рири устроили раздевалку и мужчины складывали там свои пальто, а женщины свои накидки и шали. Шампанское лилось рекой. Жан много пил. Здесь, в этом доме, ему всюду слышался смех Рири, виделись его добрые, сияющие глаза, и он пил, чтобы не видеть и не слышать, чтобы заглушить терзавшее его раскаяние. Вернулись домой в три часа утра. На другой день было воскресенье, на службу идти не надо. Проснулись поздно. Дальнейшее я передаю уже собственными словами Жана.

— Я проснулся с головной болью. Мари-Луиза уже встала. Она сидела за туалетным столиком и расчесывала волосы. Я тогда усердно занимался спортом и по утрам всегда делал гимнастику. В то утро мне не хотелось, но я подумал, что после вчерашней выпивки это необходимо. Я встал, взял булавы. Спальня у нас была просторная, между кроватью и туалетным столиком, за которым сидела Мари-Луиза, было достаточно места. Я проделал обычные упражнения. Мари-Луиза незадолго перед тем переменила прежнюю свою прическу на новую, по-моему, отвратительную — подстриглась совсем коротко и сзади была похожа на мальчика, — и я смотрел на ее затылок, на щетинку от подбритых волос, и меня тошнило. Мари-Луиза отложила щетки и стала пудриться. Вдруг она как-то очень противно захихикала.

— Чему ты смеешься? — спросил я.

— Это я над мадам Ренар. Она вчера была в старом платье — том самом, что еще на нашу свадьбу надевала. Она его перешила и перекрасила, но меня не проведешь. Я его сразу узнала.

Это было такое идиотское замечание- — оно привело меня в ярость. Я прямо ослеп от злобы и изо всех сил ударил ее булавой. Должно быть, я проломил ей череп — через два дня она умерла в больнице, не приходя в сознание.

Он помолчал. Я протянул ему сигарету и сам закурил.

— Я рад был, что она умерла. Все равно мы уже не могли бы жить вместе, и трудно было бы объяснить ей мой поступок.

— Да. Трудновато.

— Меня арестовали и судили за убийство. Я, конечно, говорил, что это несчастный случай, что булава вырвалась у меня из руки. Но медицинская экспертиза с этим не согласилась. Обвинение доказало, что такой пролом черепа, как у Мари-Луизы, мог быть результатом только очень сильного преднамеренного удара. К счастью для меня, они никак не могли доискаться причины преступления. Прокурор сперва выдвинул ревность: будто бы на вечере у Ре-наров кто-то из мужчин слишком рьяно ухаживал за моей женой. Но этот человек клялся всеми святыми, что ничего такого не сделал, что могло возбудить мою ревность, да и другие гости засвидетельствовали, что, уезжая с вечера, мы с женой были в самых мирных отношениях. На туалетном столике нашли неоплаченный счет от портнихи, и прокурор высказал предположение, что у нас с женой из-за этого вышла ссора. Но мне удалось доказать, что свои туалеты Мари-Луиза всегда оплачивала из собственных средств, так что этот счет не мог быть причиной ссоры между нами. Нашлись свидетели, которые показали, что я всегда хорошо относился к Мари-Луизе. Нас вообще считали нежной парочкой. Репутация у меня была безупречная, мой шеф дал обо мне наилучший отзыв. Я с самого начала видел, что гильотина мне не угрожает, а одно время даже надеялся, что меня совсем отпустят. В конце концов мне дали шесть лет. И. я не жалею о том, что сделал, потому что с того самого дня пока я сидел в тюрьме до суда и после, уже здесь, — я больше не мучаюсь из-за Рири. Если бы я верил в духов, я бы сказал, что дух Рири успокоился в могиле после смерти Мари

Луизы. Так или иначе, совесть меня больше не терзает; и если вспомнить, как я мучился прежде, то смею вас уверить, все, что я перенес потом, — это недорогая плата. Теперь я чувствую, что опять могу смотреть людям в глаза.

Я сам понимаю, что это невероятная история, а я ведь как-никак реалист и в своих произведениях стараюсь быть верным жизни. Я тщательно избегаю всего причудливого и фантастического — равно как и писательского произвола. Если бы я выдумал эту историю, я бы, конечно, постарался сделать ее более правдоподобной. А так я, пожалуй, и сам бы ей не поверил, не услышь я ее собственными ушами. Не знаю, правду ли мне говорил Жан Шарвен, но слова, которыми он закончил свой рассказ в последнее наше свидание, звучали убедительно. Я спросил, каковы его виды на будущее.

— У меня во Франции есть друзья, — ответил он, — они хлопочут обо мне. После приговора многие считали, что я стал жертвой грубой судебной ошибки. Директор той фирмы, где я служил, убежден, что меня осудили несправедливо. Возможно, мне сократят срок. А если даже нет, то после шести лет мне, вероятно, разрешат вернуться во Францию. Я, видите ли, приношу здесь большую пользу. Бухгалтерия была здесь в крайне запущенном состоянии, а я все привел в идеальный порядок. Были утечки, и я уверен, что, если мне предоставят свободу действий, я их прекращу. Комендант ко мне расположен, он сделает для меня все, что в его силах. В самом худшем случае мне будет всего тридцать лет с небольшим, когда я вернусь на родину.

— Но не трудно ли вам будет устроиться на работу?

— Такой опытный бухгалтер, как я, если он вдобавок трудолюбив и честен, всегда найдет работу. Конечно, в Гавре мне нельзя будет оставаться. Но у директора нашей фирмы есть деловые связи в Лилле, Лионе и Марселе. Он обещал мне помочь. Нет, я без страха взираю на будущее. Где-нибудь устроюсь, и, как только прочно осяду на месте, я женюсь.

После всего, что я перенес, я хочу иметь семейный очаг.

Мы сидели у меня на веранде — в одном из ее углов, чтобы не упустить ни малейшего дуновения воздуха; с тою же целью я оставил с северной стороны жалюзи неспущенными, и нам виден был кусок неба и ближе к краю одинокая пальма, чьи зеленые листья резко вычерчивались на синем фоне; все вместе напоминало рекламу тропического путешествия. Жан Шарвен смотрел вдаль, словно пытаясь разглядеть там свое будущее.

— Но если я опять женюсь, — задумчиво сказал он, — то уж не по любви. Нет, в следующий раз я женюсь по расчету.